

*“Если я усну и проснусь
через сто лет и меня
спросят, что сейчас
происходит в России,
я отвечу:
пьют и воруют”.*

М. Е. Салтыков-Щедрин

С предисловием
Николая Губенко

Михаил Салтыков-Щедрин

ЯЗВЫ РУССКОЙ ЖИЗНИ

ЗАПИСКИ БЫВШЕГО ГУБЕРНАТОРА



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Язвы русской жизни. Записки бывшего губернатора

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57389465
Язвы русской жизни. Записки бывшего губернатора:
ISBN 978-5-907332-89-8*

Аннотация

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, знаменитый русский писатель, знал о «язвах русской жизни» не понаслышке. В молодости он служил в вятском губернском правлении, затем – чиновником по особым поручениям при Министерстве внутренних дел, позже занимал должности рязанского и тверского вице-губернатора. Исходя из опыта своей деятельности, Салтыков-Щедрин показал «неустройство русского существования», в настоящем и будущем России он усматривал «конфуз»: «идти вперед – трудно, идти назад – невозможно». В книге, представленной вашему вниманию, собраны лучшие публицистические работы М. Е. Салтыкова-Щедрина, не потерявшие свою актуальность. В них идет речь об отношениях власти и народа, об особенностях российского управления, о жизни русских людей, о возможности преобразования России и т. д. Предисловие к книге написал Н. Н. Губенко – известный актер, режиссер и сценарист, руководитель театра «Содружество

актеров Таганки». В своем театре он поставил по произведениям Салтыкова-Щедрина спектакль, который вызвал восторженные оценки зрителей. Они утверждают, что этот спектакль смотрится так, будто поставлен по пьесе современного автора.

Содержание

Предисловие	6
Введение	11
Что есть и что была Россия...	27
Период брожения	27
Об угрозе «анархии»	41
Конец ознакомительного фрагмента.	44

**Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин
Язвы русской
жизни. Записки
бывшего губернатора**

© Предисловие Н. Губенко, 2020

© ООО «Издательство Родина», 2020

Предисловие

Во властных структурах государства Российского за 160 лет – с момента, когда Салтыков-Щедрин писал свои произведения, – почти ничего не изменилось. Меняются названия: монархия, диктатура, капитализм... А властные структуры как были, так и остаются: а) коррумпированными, б) соподчиненными по вертикали. Есть народ, который безмолвствует, и власть, которая делает все, что хочет, пока она у власти. А потом с ней делают все, что хотят, когда она низвергнута...

Политики последних времен часто обманывали людей, в результате чего народ обнищал до изнеможения. И, как говорят у Щедрина персонажи, сейчас за наш рубль полтинник дают, а скоро будут давать по морде. Потому что покупательная способность этого рубля не соответствует жизненным потребностям русского человека.

В нашем спектакле, который поставлен по произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина, один персонаж говорит: «Нынче предпринимателей завелось много, торгуют отечеством на каждом углу». Дальше такой текст: «Возьму, разорю да убегу за границу. – И действительно, в 2–3 года все разорит, кирпич – и тот выломает и вывезет».

Сейчас у нас нефть вывозят, лес вывозят. Слава богу, еще с Байкала не провели трубопровод питьевой воды за рубеж. Скоро у нас и чернозем будут экспортировать, если за него

дадут хорошие деньги. Кстати, это делали фашисты во время Великой Отечественной. А сейчас это делают наши русские люди, которых за их доброжелательность, способность подпереть плечом друг друга прославляли Достоевский, Толстой, Чехов, Гоголь. Стыд и позор! Как у Салтыкова: «Поначалу воровать действительно страшно: все кажется, что чужой рубль жжется. А потом, как увидит человек, что чужой рубль легче всего обращается в собственный, станет и походя поворовывать».

Вечный для России вопрос: кто виноват?

Те, кто провозгласил, что у государства не должно быть идеологии. Это разрушительный тезис «идеолога перестройки» А.Н. Яковлева. Полный разброд и так называемая деидеологизация привели к появлению другой идеологии — идеологии неприязни, ненависти, повального воровства, к постыдному наплевательскому отношению к могилам предков, отдавших свои жизни за лучшее будущее нашей Родины, расчленению народа на богатых и бедных. Все, что связано с понятием «советский», сегодня оплевывается. Все американизированное идеализируется и подается как эталон...

* * *

Михаил Евграфович описал унижение писателя, неприязнь к нему сумасшедшего дома власти, наше отношение к понятиям «свобода» и «демократия». Я считаю, что сейчас

настоящая свобода действительно отсутствует. А вот свобода экстремизма во всех сферах нашей жизни, свобода насилия, когда слабый всегда в проигрыше, а сильный бьет по темени или в лоб стреляет, есть. Свобода жестокости – да, присутствует. Свобода растления молодого ума.

Я уже не говорю о нынешнем отношении к труду. Раньше труд считался благородным делом. Крестьянину, труженику воздавали хвалу на первых страницах газет за ратные подвиги. Назовите мне хоть одну деревню, где бы председатель колхоза не помог пенсионерке дровами, хлебом, вспахать огород. Это было всегда! Сейчас обратитесь к кому-нибудь! В деревне 12 стариков, 80 домов. Придет пьяный сын, сожжет, ударит топором, – вот и все «веселье».

И это «веселье» в России усугубляется еще и тем, что дети бедных тоже, за редчайшим исключением, будут бедными. Молодежь не может получить достойного образования, которое нынче стоит безумных денег. Платное образование – государственное преступление, за которое нужно судить. Я – мальчик без родителей. Из Одессы по собственной инициативе приехал поступать во ВГИК. Конкурс на одно место актерского факультета – 3 тысячи человек. И я поступил! Рядом на факультете режиссуры учились Шукшин – выходец из алтайской глубинки и Тарковский – сын рафинированных интеллигентов. Сейчас это можно представить?! Пройдите по улице Петровка мимо магазина «Азбука вкуса». На тротуаре – рекламное объявление: «Продаю главные

роли в фильмах». И телефон. Талант не нужен! Можно купить главную роль, можно – целый фильм, можно купить и продать все что угодно.

Элитные школы – что это такое? Там учатся отпрыски богатейших людей, которые стали богатыми только благодаря тому, что ограбили собственный народ. Они посылают своих детей в ультракомфортные концентрационные лагеря, оставляя всех остальных в нормальных концлагерях на похлебке. Но, как только кончатся деньги, этого ребенка не станет, он не выживет в обычной жизни. Он не личность. За ним стоит только капитал его родителей, больше ничего.

* * *

В чем вижу выход? Не нужно все реформировать повально. Как говорил все тот же Салтыков-Щедрин: «У нас из всех реформ наилучшим образом привилась одна – это буфеты при собраниях». Если в СССР была, по признанию мировой общественности, одна из лучших систем образования, зачем ее реформировать?

Наш народ нуждается в жесткой дисциплине. Все тот же Салтыков-Щедрин: «Многие утверждают, что в основе современных напастей непременно лежит воровство». Надо карать за воровство, тунеядство, преступное предпринимательство – карать, а не пугать. Если ты совершил государственное преступление, особенно в крупных размерах, то

все твое имущество, включая записанное на жену и близких, — все должно быть отдано государству.

Для нашей страны недопустимо расслоение на сверхбогатых и безумно нищих. Мы должны исповедовать идеологию достатка для всех. Значит, достаточности.

Н. Губенко

Введение
Салтыков Михаил
Евграфович (Щедрин)
(из статьи К.К. Арсеньева
«Салтыков» в «Энциклопедическом
словаре Брокгауза и
Ефрона» (1890–1907 гг.)

Салтыков (Михаил Евграфович) – знаменитый русский писатель. Родился 15 января 1826 г. в старой дворянской семье, в имении родителей, селе Спас-Угол, Калязинского уезда Тверской губернии. Хотя в примечании к «Пошехонской старине» С. и просил не смешивать его с личностью Никанора Затрапезного, от имени которого ведется рассказ, но полнейшее сходство многого, сообщаемого о Затрапезном, с несомненными фактами жизни С. позволяет предполагать, что «Пошехонская старина» имеет отчасти автобиографический характер. Первым учителем С. был крепостной человек его родителей, живописец Павел; потом с ним занимались старшая его сестра, священник соседнего села, гувернантка и студент московской духовной академии. Десяти лет от роду он поступил в московский дворянский институт

(нечто в роде гимназии, с пансионом), а два года спустя был переведен, как один из отличнейших учеников, казеннокоштным воспитанником в Царскосельский (позже – Александровский) лицей. В 1844 г. окончил курс по второму разряду (т. е. с чином X класса), семнадцатым из двадцати двух учеников, потому что поведение его аттестовалось не более как «довольно хорошим»: к обычным школьным проступкам («грубость», куренье, небрежность в одежде) у него присоединялось писание стихов «неодобрительного» содержания.

В лицее, под влиянием свежих еще тогда пушкинских преданий, каждый курс имел своего поэта; в XIII-м курсе эту роль играл С. Несколько его стихотворений было помещено в «Библиотеке для Чтения» 1841 и 1842 гг., когда он был еще лицеистом; другие, напечатанные в «Современнике» (ред. Плетнева) 1844 и 1845 гг., написаны им также еще в лицее (все эти стихотворения перепечатаны в «Материалах для биографии М.Е. Салтыкова», приложенных к полному собранию его сочинений). Ни одно из стихотворений С. (отчасти переводных, отчасти оригинальных) не носит на себе следов таланта; позднейшие по времени даже уступают более ранним. С. скоро понял что у него нет призваны к поэзии, перестал писать стихи и не любил, когда ему о них напоминали. И в этих ученических упражнениях, однако, чувствуется искреннее настроение, большей частью грустное, меланхолическое (у тогдашних знакомых С. слыл под именем «мрачного лицеиста»). В августе 1844 г. С. был зачислен на

службу в канцелярию военного министра и только через два года получил там первое штатное место – помощника секретаря. Литература уже тогда занимала его гораздо больше, чем служба: он не только много читал, увлекаясь в особенности Ж. Зандом и французскими социалистами (блестящая картина этого увлечения нарисована им, тридцать лет спустя, в четвертой главе сборника: «За рубежом»), но и писал сначала небольшие библиографические заметки (в «Отечественных Записках» 1847 г.), а потом повести: «Противоречия» (там же, ноябрь 1847) и «Запутанное дело» (март 1848).

Уже в библиографических заметках, не смотря на мало-важность книг, по поводу которых они написаны, проглядывает образ мыслей автора – его отвращение к рутине, к прописной морали, к крепостному праву; местами попадаются и блестящие насмешливого юмора. В первой повести С., которую он никогда впоследствии не перепечатывал, звучит, сдавленно и глухо, та самая тема, на которую были написаны ранние романы Ж. Занда: признание прав жизни и страсти. Герой повести, Нагибин – человек обессиленный тепличным воспитанием и беззащитный против влияний среды, против «мелочей жизни». Страх перед этими мелочами и тогда, и позже (см. напр. «Дорога», в «Губернских очерках») был знаком, по-видимому, и самому С. – но у него это был тот страх, который служит источником борьбы, а не уныния. В Нагибине отразился, таким образом, только один небольшой уголок внутренней жизни автора. Другое действующее ли-

цо романа – «женщина-кулак», Крошина – напоминает Анну Павловну Затрапезную из «Пошехонской старины», т. е. навеяно, вероятно, семейными воспоминаниями С. Гораздо крупнее «Запутанное дело» (перепеч. в «Невинных рассказах»), написанное под сильным влиянием «Шинели», может быть и «Бедных людей», но заключающее в себе несколько замечательных страниц (напр. изображение пирамиды из человеческий тел, которая снится Мичулину). «Россия» – так размышляет герой повести – «государство обширное, обильное и богатое; да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве». «Жизнь-лотерея», подсказывает ему привычный взгляд, завещанный ему отцом; «оно так – отвечает какой-то недоброжелательный голос, – но почему же она лотерея, почему ж бы не быть ей просто жизнью»?

* * *

Несколькими месяцами раньше такие рассуждения остались бы, может быть, незамеченными, но «Запутанное дело» появилось в свет как раз тогда, когда февральская революция во Франции отразилась в России учреждением негласного комитета, облеченного особыми полномочиями для обуздания печати.

28-го апреля 1848 г. С. был выслан в Вятку и 3-го июля определен канцелярским чиновником при вятском губернском правлении. В ноябре того же года он был назначен стар-

шим чиновником особых поручений при вятском губернаторе, затем два раза исправлял должность правителя губернаторской канцелярии, а с августа 1850 г. был советником губернского правления.

О службе его в Вятке сохранилось мало сведений, но, судя по записке о земельных беспорядках в Слободском уезде, найденной, после смерти С., в его бумагах и подробно изложенной в «Материалах» для его биографии он горячо принимал к сердцу свои обязанности, когда они приводили его в непосредственное соприкосновение с народной массой и давали ему возможность быть ей полезным. Провинциальную жизнь, в самых темных ее сторонах, в то время легко ускользавших от взора, С. узнал как нельзя лучше, благодаря командировкам и следствиям, которые на него возлагались – и богатый запас сделанных им наблюдений нашел себе место в «Губернских Очерках».

Тяжелую скуку умственного одиночества он разгонял внеслужебными занятиями: сохранились отрывки его переводов из Токвиля, Вивьена, Шерюеля и заметки, написанные им по поводу известной книги Беккарии. Для сестер Болтиных, из которых одна в 1856 г. стала его женою, он составил «Краткую историю России». В ноябре 1855 г. ему разрешено было, наконец, совершенно оставить Вятку (откуда он до тех пор только один раз выезжал к себе в тверскую деревню); в феврале 1856 г. он был причислен к министерству внутренних дел, в июне того же года назначен чиновником осо-

бых поручений при министре и в августе командирован в губернии Тверскую и Владимирскую для обозрения делопроизводства губернских комитетов ополчения (созванного, по случаю Восточной войны, в 1855 г.).

В его бумагах нашелся черновик записки, составленной им при исполнении этого поручения. Она удостоверяет, что так называемые дворянские губернии предстали перед С. не в лучшем виде, чем недворянская, Вятская; злоупотреблений при снаряжении ополчения им было обнаружено множество. Несколько позже им была составлена записка об устройстве градских и земских полиций, проникнутая мало еще распространенной тогда идеей децентрализации и весьма смело подчеркивавшая недостатки действовавших порядков.

Вслед за возвращением С. из ссылки возобновилась, с большим блеском, его литературная деятельность. Имя надворного советника Щедрина, которым были подписаны появлявшиеся в «Русском Вестнике», с 1856 г., «Губернские Очерки», сразу сделалось одним из самых любимых и популярных. Собранные в одно целое, «Губернские Очерки» в 1857 г. выдержали два издания (впоследствии – еще два, в 1864 и 1882 гг.). Они положили начало целой литературе, получившей название «обличительной», но сами принадлежали к ней только отчасти. Внешняя сторона мира кляуз, взяток, всяческих злоупотреблений наполняет всецело лишь некоторые из очерков; на первый план выдвигается психоло-

гия чиновничьего быта, выступают такие крупные фигуры, как Порфирий Петрович, как «озорник», первообраз «помпадуров», или «надорванный», первообраз «ташкентцев», как Перегоренский, с неукротимым ябедничеством которого должно считаться даже административное полномочие.

Юмор, как и у Гоголя, чередуется в «Губернских Очерках» с лиризмом; такие страницы, как обращение к провинции (в «Скуке»), производят до сих пор глубокое впечатление. Чем были «Губернские Очерки» для русского общества, только что пробудившегося к новой жизни и с радостным удивлением следившего за первыми проблесками свободного слова – это легко себе представить...

Обстоятельствами тогдашнего времени объясняется и то, что автор «Губернских Очерков» мог не только оставаться на службе, но и получать более ответственные должности. В марте 1858 г. С. был назначен рязанским вице-губернатором, в апреле 1860 г. переведен на ту же должность в Тверь. Пишет он в это время очень много, сначала в разных журналах (кроме «Русского Вестника» – в «Атенее», «Современнике», «Библиотеке для чтения», «Московском Вестнике»), но с 1860 г. – почти исключительно в «Современнике» (в 1861 г. С. поместил несколько небольших статей в «Московских Ведомостях» (ред. В. Ф. Корша), в 1882 г. – несколько сцен и рассказов в журнале «Время»). Из написанного им между 1858 и 1862 гг. составились два сборника – «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе»; и тот, и другой изда-

ны отдельно три раза (1863, 1881, 1885). В картинах провинциальной жизни, которые С. теперь рисует, Крутогорск (т. е. Вятка) скоро уступает Глупову, представляющему собою не какой-нибудь определенный, а типичный русский город – тот город, «историю» которого, понимаемого в еще более широком смысле, несколькими годами позже написал С. Мы видим здесь как последние вспышки отживающего крепостного строя («Госпожа Падейкова», «Наш дружеский хлам», «Наш губернский день»), так и очерки так называемого «возрождения», в Глупове не идущего дальше попыток сохранить, в новых формах, старое содержание. Староглуповец «представлялся милым уже потому, что был не ужасно, а смешно отвратителен; новоглуповец продолжает быть отвратительным – и в тоже время утратил способность быть милым» («Наши глуповские дела»).

В настоящем и будущем Глупова усматривается один «конфуз»: «идти вперед – трудно, идти назад – невозможно». Только в самом конце этюдов о Глупове проглядывает нечто похожее на луч надежды: С. выражает уверенность, что «новоглуповец будет последним из глуповцев».

* * *

В феврале 1862 г. С. в первый раз вышел в отставку. Он хотел поселиться в Москве и основать там двухнедельный журнал; когда ему это не удалось, он переехал в Петербург

и с начала 1863 г. стать, фактически, одним из редакторов «Современника».

В продолжении двух лет он помещает в нем беллетристические произведения, общественные и театральные хроники, московские письма, рецензии на книги, полемические заметки, публицистические статьи. Все это, за исключением немногих сцен и рассказов, вошедших в состав отдельных изданий («Невинные рассказы», «Признаки времени», «Помпадуры и Помпадурши»), остается до сих пор не перепечатанным, хотя включает в себе много интересного и важного (Обзор содержания статей, помещенных С. в «Современнике» 1863 и 1864 гг., см. в книг А.Н. Пыпина: «М.Е. Салтыков» (СПб., 1879). Есть основание надеяться, что эти статьи – или большая их часть – войдут в состав следующего издания сочинений С.).

К этому же, приблизительно, времени относятся замечания С. на проект устава о книгопечатании, составленный комиссией под председательством кн. Д.А. Оболенского (см. «Материалы для биографии М.Е. Салтыкова»). Главный недостаток проекта С. видит в том, что он ограничивается заменой одной формы произвола, беспорядочной и хаотической, другой, систематизированной и формально узаконенной. Весьма вероятно, что стеснения, которые «Современник» на каждом шагу встречал со стороны цензуры, в связи с отсутствием надежды на скорую перемену к лучшему, побудили С. опять вступить на службу, но по другому

ведомству, менее прикосновенному к злобе дня. В ноябре 1864 г. он был назначен управляющим пензенской казенной палатой, два года спустя переведен на ту же должность в Тулу, а в октябре 1867 г. – в Рязань. Эти годы были временем его наименьшей литературной деятельности: в продолжение трех лет (1865, 1866, 1867) в печати появилась только одна его статья «Завещание моим детям» («Современник», 1866, № 1; перепеч. в «Признаках времени»).

Тяга его к литературе оставалась, однако, прежняя: как только «Отечественные Записки» перешли (с 1 января 1868 г.) под редакцию Некрасова, С. сделался одним из самых усердных их сотрудников, а в июне 1868 г. окончательно покинул службу и сделался одним из главных сотрудников и руководителей журнала, официальным редактором которого стал десять лет спустя, после смерти Некрасова. Пока существовали «Отечественный Записки», т. е. до 1884 г., С. работал исключительно для них.

После запрещения «Отечественных Записок» С. помещал свои произведения преимущественно в «Вестнике Европы»; отдельно «Пестрые письма» и «Мелочи жизни» были изданы при жизни автора (1886 и 1887), «Пошехонская старина» – уже после его смерти, в 1890 г.

Здоровье С., расшатанное еще с половины 70-х годов, было глубоко потрясено запрещением «Отечественных Записок». Впечатление, произведенное на него этим событием, изображено им самим с большою силой в одной из ска-

зок («Приключение с Крамольниковым», который «однажды утром, проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет») и в первом «Пестром письме», начинающемся словами: «несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка»... Редакционной работой С. занимался неустойчиво и страстно, живо принимая к сердцу все касающееся журнала. Окруженный людьми ему симпатичными и с ним солидарными, С. чувствовал себя, благодаря «Отечественным Запискам», в постоянном общении с читателями, на постоянной, если можно так выразиться, службе у литературы, которую он так горячо любил и которой посвятил, в «Круглом годе», такой чудный хвалебный гимн (письмо С. к сыну, написанное незадолго до смерти, оканчивается словами: «паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому»).

Незаменимой утратой был для него, поэтому, разрыв непосредственной связи между ним и публикой. С. знал, что «читатель-друг» по-прежнему существует – но этот читатель «заробел, затерялся в толпе и дознаться, где именно он находится, довольно трудно». Мысль об одиночестве, «оброшенности» удручает его все больше и больше, обостряемая физическими страданиями и в свою очередь обостряющая их. «Болен я, – восклицает он в первой главе «Мелочей жизни», – невыносимо. Недуг впился в меня всеми когтями и не выпускает из них. Изможденное тело ничего не может ему противопоставить».

Последние его годы были медленной агонией, но он не переставал писать, пока мог держать перо, и его творчество оставалось до конца сильным и свободным; «Пошехонская старина» ни в чем не уступает его лучшим произведениям. Незадолго до смерти он начал новый труд, об основной мысли которого можно составить себе понятие уже по его заглавию: «Забывшие слова» («Были, знаете, слова, – сказал Салтыков Н.К. Михайловскому незадолго до смерти – ну, совесть, отечество, человечество, другие там еще... А теперь потрудитесь-ка из поискать!.. Надо же напомнить!»...).

Он умер 28 апреля 1889 г. и погребен 2 мая, согласно его желанию, на Волковом кладбище, рядом с Тургеневым.



Немного найдется писателей, которых ненавидели бы так сильно и так упорно, как Салтыкова. Эта ненависть пережила его самого; ею проникнуты даже некрологи, посвященные ему в некоторых органах печати. Союзником злобы являлось непонимание. Салтыкова называли «сказочником», его произведения – фантазиями, вырождающимися порою в «чудесный фарс» и не имеющими ничего общего с действительностью. Его низводили на степень фельетониста, забавника, карикатуриста, видели в его сатире «некоторого рода ноздревщину и хлестаковщину, с большою прибавкою Собакевича». С. как-то назвал свою манеру писать «рабьей», это

слово было подхвачено его противниками – и они уверяли, что благодаря «рабьему языку» сатирик мог болтать сколько угодно и о чем угодно, возбуждая не негодование, а смех, потешая даже тех, против кого направлены его удары. Идеалов, положительных стремлений у С. по мнению его противников, не было: он занимался только «оплеванием», «перетасовывая и пережевывая» небольшое количество всем наскучивших тем.

В основании подобных взглядов лежит, в лучшем случае, ряд явных недоразумений. Элемент фантастичности, часто встречающийся у С., нисколько не уничтожает реальности его сатиры. Сквозь преувеличения ясно виднеется правда – да и самые преувеличения оказываются иногда ничем другим, как предугадыванием будущего. Многое из того, о чем мечтают, например, прожектеры в «Дневнике провинциала», несколько лет спустя перешло в действительность. Между тысячами страниц, написанных С., есть, конечно, и такие, к которым применимо название фельетона или карикатуры – но по небольшой и сравнительно неважной части нельзя судить о громадном целом. Встречаются у Салтыкова и резкие, грубые, даже бранные выражения, иногда, быть может, быющие через край; но вежливости и сдержанности нельзя и требовать от сатиры. В. Гюго не перестал быть поэтом, когда сравнил своего врага с поросенком, щеголяющим в львиной шкуре; Ювенал читается в школах, хотя у него есть неудобопереводимые стихи. Обвинению в цинизме подвергались,

в свое время, Вольтер, Гейне, Барбье, П.Л. Курье, Бальзак; понятно, что оно взводилось и на С.

Весьма возможно, что при чтении. С. смеялись, порою, «помпадуры» или «ташкентцы»; но почему? Потому что многие из читателей этой категории отлично умеют «кивать на Петра», а другие видят только смешную оболочку рассказа, не вникая в его внутренний смысл. Слова С. о «рабьем языке» не следует понимать буквально. Бесспорно, его манера носит на себе следы условий, при которых он писал: у него много вынужденных недомолвок, полуслов, иносказаний – но еще больше можно насчитать случаев, в которых его речь льется громко и свободно или, даже сдержанная, напоминает собою театральный шепот, понятный всем постоянным посетителям театра. Рабий язык, говоря собственными словами С., «нимало не затемняют его намерений»; они совершенно ясны для всякого, кто желает понять их. Его темы бесконечно разнообразны, расширяясь и обновляясь сообразно с требованиями времени.

Есть у него, конечно, и повторения, зависящая отчасти от того, что он писал для журналов; но они оправдываются, большею частью, важностью вопросов, к которым он возвращался. Соединительным звеном всех его сочинений служит стремление к идеалу, который он сам (в «Мелочах жизни») резюмирует тремя словами: «свобода, развитие, справедливость». Под концом жизни эта формула кажется ему не достаточною. «Что такое свобода», говорить он, «без участия в

благах жизни? Что такое развитие, без ясно намеченной конечной цели? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви?»?

На самом деле любовь никогда не была чужда С.: он всегда проповедовал ее «враждебным словом отрицанья». Беспоощадно преследуя зло, он внушает снисходительность к людям, в которых оно находит выражение часто помимо их сознания и воли. Он протестует, в «Большом месте», против жестокого девиза: «со всем порвать». Речь о судьбе русской крестьянской женщины, вложенная им в уста сельского учителя («Сон в летнюю ночь», в «Сборнике»), может быть поставлена, по глубине лиризма, наряду с лучшими страницами некрасовской поэмы: «Кому на Руси жить хорошо». «Кто видит слезы крестьянки? Кто слышит, как они льются капля по капле? Их видит и слышит только русский крестьянский малютка, но в нем они оживляют нравственное чувство и полагают в его сердце первые семена добра». Эта мысль, очевидно, давно овладела С. В одной из самых ранних и самых лучших его сказок («Пропала совесть») совесть, которую все тяготятся и от которой все стараются отделаться, говорит своему последнему владельцу: «отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем, авось он меня, неповинный младенец, приютит и выходит, авось он меня в меру возраста своего произведет да и в люди потом со мной выйдет – не погнушается... По этому ее слову так и сделалось. Отыскал меща-

нишка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил в нем совесть. Растет маленькое дитя, и вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама». Эти слова, полные не только любви, но и надежды – завет, оставленный С. русскому народу.

Статья приведена с сохранением орфографии и пунктуации оригинала.

Что есть и что была Россия...

Период брожения (из сборника статей «Итоги»)

Что такое наше «общественное возрождение»? Это тот путь, которому последовала жизнь в процессе своего обновления, и те отрицательные результаты, к которым она привела, благодаря избранному пути.

Недавно мы были свидетелями периода довольно оживленного, который многими назывался периодом брожения. Были у нас и прогрессисты, и консерваторы, и ретрограды. Первые пламенели, вторые балансировали, третьи огрызались. Производился обмен мыслей, ставился вопрос: дозрели мы или не дозрели — и мгновения незаметно летели за мгновениями. Очень возможно, что весь этот переполох не заключал в себе существенного содержания, что он представлял собой легкомысленное щебетанье снегирей, насви- станных с чужого голоса, но, во всяком случае, лица не поражали сонливостью, не видно было той подавляющей скуки, которая так, кажется, и гласит: сии люди погибли для радостей. Теперь даже этого внешнего оживления незаметно. Нет ни прогрессистов, ни консерваторов, ни ретроградов...

А между тем наступило время сеяния; зерна по земле рассыпано множество, а инде даже и молодые всходы пробиваются. Современный человек видит и это сеянье, и эти всходы, по временам останавливается перед ними и даже произносит сочувственное или неодобрительное слово. Но стоит прислушаться к этому слову, чтобы убедиться, что в нем нет ни одной живой и ясной ноты. Тут звучит и неумелость, и легкомысленная голословность, и завещанная преданием заученность – все, кроме страстности и сознания личной прикосновенности к делу сеяния. «Не мое дело, мне как бы вот день прожить», – говорит всяк и каждый. Одно за другим проходят явления, которым, по всем видимостям, следовало бы захватить самые жизненные основы общества... ничуть не бывало! ничто ничего не захватывает, ничто ничего не вызывает наружу! По поводу явления самого решительного литература испустит обычное формально-лирическое бормотание, уличная же публика вяло перекинется двумя-тремя бессодержательными вопросами и вяло же разбредется по домам, чтобы там предаться вялым размышлениям...

Как скоро все это стихло, потухло, стушеввалось! Что ни говорите, а эта быстрота утомления – признак очень сомнительный. Не в том опасность, что скоро потухло и стихло брожение, которому мы были свидетелями, – бог с ним, с этим брожением! – а в том, что быстрота утомления делается как бы регулятором жизни. Стало быть, впереди видится нечто очень малое, ежели общество не трепещет, не напря-

гает сил, не самоотвергается, не впадает в ошибки, а только глядит в одну случайно попавшуюся на глаза точку и думает: «ах, кабы совсем этих сеяний не было!»

* * *

Говорят, что все это признаки очень здоровые; что страсти умиротворились, брожение улеглось, колебания выяснились. Солидные люди усматривают задатки так называемого трезвого отношения к жизни и пророчат нечто прочное, осмотнительное, неторопливое. Но качества этой трезвости более чем сомнительны. Это безвкусная, бессодержательная трезвость, которая граничит с полным упадком сил. Как ни наянливо было наше недавнее озлобление против запросов жизни, как ни мелочны были формы, в которых оно выражалось, – приходится пожалеть и о нем. И там было нечто, свидетельствовавшее, что пульс не перестал еще биться, и там была возможность поступков, а следовательно, и возможность поправок, возвратов, раскаяний. И вдруг – пустое место. Одно чувство господствует и одолевает: чувство пустоты, чувство ненужности. У всех на языке одна фраза: надо дело делать, и у всех же в голове одна мысль: «ах, кабы меня бог помиловал!» Все окоченело и сосредоточилось на одной мысли: как бы подцепить грош и прожить насущный день. Не чувство жизни горит в человеке, а коптит и чадит в нем чувство самого грошового самосохранения. И жить незачем,

и умереть страшно. Не потому страшно, чтоб пугали сновидения:

Умереть – уснуть... —

а потому, что умы до того сдавлены робостью, что никакое прямое решение для них недоступно. Человек не живет и не умирает, а перебрасывает самого себя изо дня в день без всякого участия личного творчества.

Горечь отдельных фактов не возбуждает в нас ни симпатии, ни отголоска; наплыв случайности не вызывает нашего гнева; разрозненность явлений, отсутствие связного представления об общем строе жизни, перерывы, провалы, колебания – ничто не может пробить броню равнодушия, в которую мы облеклись. «Не наше дело! – слышится со всех сторон, – довольно волнений! пусть страсти улягутся! пусть жизнь сама ответит на собственные запросы свои!»

Глядя со стороны, можно подумать, что мы только что вытерпели жестокую битву и теперь зализываем свои раны.

И действительно, битва, которую мы вытерпели, была очень жестокая. Это была знаменитая в летописях битва против нигилистов, свистунов, космополитов и проч. Мы увлеклись ею до того, что забыли даже о задачах, которые нас занимали, и из бессодержательного эпизода сделали главную тему всей нашей жизни. И что же вышло? устранили ли мы что-нибудь? – нет, не устранили, потому что и устранять, в сущности, было нечего. Приобрели ли? – нет, и не приобрели ничего, а, напротив того, все утратили.

И теперь, когда поле сражения чисто, когда нигилисты и свистуны поражены, посрамлены и рассеяны, мы тщетно стараемся припомнить те задачи, которые занимали и волновали нас в оное время.

— О чем бишь мы производили обмен мыслей до этой баталии? — может спросить любой из нас и наверное не получит никакого другого ответа, кроме:

— Убей бог! ничего не помню!

* * *

Ежели существует способ проверить степень развития общества или, по крайней мере, его способность к развитию, то, конечно, этот способ заключается в уяснении тех идеалов, которыми общество руководится в данный исторический момент. Чему симпатизирует общество? чего оно желает? к чему стремится его мысль? — вот вопросы, которых разрешение с первого же раза становится обязательным для историка и исследователя общественной жизни, так как только на нем, на этом разрешении, могут быть основаны все дальнейшие приговоры и оценки. И благо тем обществам, которые хоть какой-нибудь ответ дают на эти вопросы; недобро тем, которые никакого ответа на них дать не могут.

Прежде всего, именно нужен ответ. Предположите общество, следующее в своем развитии самому ложному пути, общество, признающее своим идеалом обеспечение прав мень-

шинства ценою бесправности масс, — вы, конечно, будете вправе сказать, что этот идеал неудовлетворителен и даже опасен, но в то же время вы все-таки должны будете сознаться, что перед вами стоит не безразличная масса, а юридическое лицо, которое способно защищать свои убеждения и понимать силу и последствия своих поступков. Тут есть возможность для порицания, для опровержений и споров, а следовательно, и для оценки. Но предположите такое общество, которое не свидетельствует ни о правильном, ни о ложном развитии, которое просто-напросто представляет массу бродячих элементов, не знающую никаких идеалов и в то же время настолько компактную, что в смысле орудия она может оказывать действие очень решительное, — и вы наверное скажете, что это общество или совсем безнадежное, или такое, которое не вышло еще из доисторической эпохи своего существования.

Чтоб убедиться в правильности этого приговора, стоит только оглядеться кругом себя и попристальнее вникнуть в ежедневную практику личных отношений. Какие люди представляются на практике самыми бесполезными? — это люди, которые не имеют ясного отправного пункта для оценки требований жизни и определения своих отношений к ней. С какими людьми сношения принимают не только бессодержательный, но даже просто невыносимый характер? — опять-таки с теми же, живущими бессознательною жизнью, людьми. Наконец, каких людей всего более есть основание опасать-

ся? – и тут прежде всего бросаются в глаза те вялые и бесцветные субъекты, движения которых ничем не обуславливаются, кроме вспышек темперамента. Человеку, который бродит, не видя перед собой цели и не зная, куда он прибрeдет, невозможно доверить никакого общественного интереса. С человеком, который не в силах ничего сказать, нельзя иметь не только действительного обмена мыслей, но даже и такого, к которому было в обычае приглашать поголовно всех гуляющих русских людей в памятную для нас эпоху все-российского либерализма. На человека, который представляет собою пустое место, не только нельзя возлагать упований, но даже остеречься от него трудно, потому что никто не может определить, что заползет в эту пустоту и что из нее выйдет, приветственный ли звук, или змеиное шипение, или просто дурацкое мычание. Тут все загадка, и притом такая, на разрешение которой сколько бы ни потратилось ума, все-таки никакой разгадки не получится. Самые антипатичные друг другу убеждения могут иметь общую почву – почву разума, заблуждающегося или идущего верно; но при встрече убеждения с отсутствием такового возможность общей почвы исчезает совершенно, и человеку убежденному, очутившемуся среди людей, не тронутых сознанием, остается только умолкнуть, предаться физиологическим отправлениям и выжидать, что будет дальше...

Таким образом, вопрос об общественных симпатиях и идеалах выдвигается сам собою и становится единственным

исходным пунктом для правильного формулирования всех последующих суждений и оценок.

Предположим, однако ж, что все симпатии и антипатии представляют в жизни общества нечто эпизодическое, что оно независимо от них может разрабатывать известные исторические задачи, имеющие значение абсолютное, а не проходящее. Как ни мало вразумительно это разграничение абсолютного и условного в применении к общественному организму, но допустим даже бессмыслицу, согласимся на минуту, что общество может достигать известных целей в будущем, даже и в том случае, когда оно на каждом шагу противоречит этим целям в настоящем и делает все возможное, чтоб подорвать их, — все-таки прежде всего приходится разрешить вопрос: в чем же заключаются эти цели будущего? чего желает общество? К чему стремится его интимная мысль?

* * *

Здесь мы больше, чем где-либо, вступаем в область догадок и недоумений. Навстречу нам восстает целая масса так называемых задач будущего; но эта масса, к сожалению, сплошь состоит из одних общих мест, и даже не из общих мест, а просто из отрывочных звуков. Одни видят разгадку будущих русских судеб в слове «цельность», другие — в слове «смирение», третьи — в слове «любовь»; четвертые, наконец,

даже не дают себе труда порыться в лексиконе, а просто-напросто сулят слово новое, неслыханное. Какие возможны практические применения для всех этих загадочных определений? И ежели даже отложить в сторону вопрос о применениях насущных, если представить себе, что общество обязано терпеливо выносить временные невзгоды и неудобства в виду грядущих идеалов, то какой же идеал может осуществить собой, например, «смирение»? способно ли политически существовать общество или государство, поставившее себе целью подобный идеал?

«Смирение» приводится здесь потому, что оно все-таки представляет идеал более практический, нежели, например, «цельность», «любовь», «новое слово» и т. п. «Смирение» не без примеров в прошлом, а при известной сумме усилий к нему можно, пожалуй, прийти и в будущем. Самое совершенное, практическое применение этого идеала было уже осуществлено историей в крепостном праве; но ежели взглянуть в это явление попристальнее, то окажется, что даже в его основе лежало не столько смирение, сколько принуждение. Смирение было лишь исходным пунктом, из которого впоследствии распустилось пышным цветком крепостное право; но поддерживалось и питалось оно исключительно принуждением. Если б это было иначе, не предстояло бы надобности возбуждать вопрос об упразднении крепостного права, ибо смирение есть вещь, которая никогда никому не возбранялась, да и возбранять ее выгоды нет. Но дело в том,

что смирение ни во что другое не может развиваться, как только в крепостное право; а следовательно, ежели вновь возвести его на степень общественного идеала, то придется опять быть свидетелем нарождения крепостного права, а затем и опять хлопотать об его упразднении. Сколько переполохов, хлопот, экзекуций! Во имя чего? – не во имя того, чтобы впоследствии иметь право сказать: этих людей секли, дабы они умели пользоваться дарами свободы и насладились плодами материального и нравственного обеспечения, а для того, чтобы сказать: этих людей секли, дабы они были смиренными. Что ж дальше? Какие практические последствия этого идеала, кроме всеобщего обезличения и обнищания? Стоит ли хлопотать из-за этого?

Но не в том еще дело, что идеалы, на которые указывает общественное мнение и литература, негодны, а в том, что ежели, например, говорят, что задача русского общества заключается в осуществлении «цельности» жизни, то вопрос: в чем же состоит задача русского общества? – все-таки остается открытым. Подобного признака история не только не может принять в соображение при определении стремлений и желаний общества в данную минуту, но не имеет права даже останавливаться на нем. В глазах ее это не признак, а празднословие – и ничего больше. Поэтому все, что она может сделать в виду подобных ответов, – это сказать: в такую-то эпоху русское общество, быть может, и обладало какими-либо политическими и социальными идеалами, но, за

невозможностью формулировать их, ограничивалось лишь некоторыми загадочными выражениями, думая, конечно, заменить ими те конкретные представления, которые одни могут служить целью для общественных стремлений. Или, выражаясь точнее, общество обманывало само себя, окружая призраками свое настоящее и запутывая ими свое будущее.

Несмотря на изобилие ответов, настоящего, дельного ответа все-таки нет. Следует ли из этого заключать, что русское общество живет вовсе без желаний, без идеалов? – Само собой разумеется, что нет, ибо допустить подобное предположение значило бы допустить исключение русского общества из общечеловеческой семьи, а это было бы слишком уж опрометчиво. Мы помним даже один момент (и очень недавний), когда можно было уловить очертания наших общественных желаний и стремлений, но, к сожалению, момент этот был так короток, что не успели мы оглянуться, как очертания стерлись, а на место их снова выступили: смирение, любовь, цельность да загадочное «новое слово». То есть опять наступили времена доисторические.

Тем не менее, не следует забывать, что такой момент, когда общественные желания из области бесформенности готовы были вступить на почву практическую, существовал несомненно. И на первых порах эти желания выразились очень конкретно и ясно: в упразднении крепостного права и в учреждении правильного суда. Общие места и забористого свойства слова были на время покинуты. Не было речи

ни о смирении, ни о цельности, ни о любви, потому что для пустословия нет места там, где предстоит прямое практическое дело.

* * *

Какое же, однако, можно вывести отсюда заключение относительно идеалов русской жизни?

Покуда заключение может быть только следующее: что русские общественные идеалы не противоречат идеалам общечеловеческим и что они, точно так же, как и последние, лежат на реальной почве. Но в чем именно заключается полнота этих идеалов и выяснится ли она когда-нибудь настолько, насколько, например, выяснились идеалы французского общества, — это и поднесь остается загадкой.

Есть мнение довольно распространенное, которое указывает на последние успехи нашей жизни как на факт, свидетельствующий о достижении нами общественного идеала. Но, признавая всю несомненность упомянутых успехов, всю благотворность их влияния на жизнь, едва ли можно остановиться на мысли о такой их непреложности, которая позволила бы счесть прогресс законченным. Сомнения, которые при этом возникают, совсем не плод капризной и прихотливой мысли, но прямо вытекают из практики. Жизнь хороша и привольна — слова нет; но все же нельзя не сознаться, что и в этой привольной жизни кое-чего недостает. Недостает,

например, возможности знать, чего мы желаем, к чему стремимся, чему симпатизируем. Допустим даже, что это требование прихотливое, но не забудем и того, что множество требований, которые считались прихотливыми относительно обществ доисторических, делались совершенно законными и естественными, как скоро те же самые общества вступали в исторический период своего существования.

Самый существенный интерес для общества заключается в познании самого себя, своих сил, симпатий и целей, а пожалуй, даже и в уяснении искомого нового слова. Это первый признак, и притом единственное прочное доказательство его действительного вступления на стезю исторической жизни. Обладаем ли этим самопознанием? и ежели обладаем, то почему же оно высказывается до того неслышно, что высказ этот не оставляет по себе никаких следов? – Покуда этот вопрос тяготеет над нами, мы едва ли будем правы, свидетельствуя во всеуслышание о нашем обновлении.

К сожалению, общество наше выдержало в прошедшем такую тяжелую школу, что даже первые, частные признаки обновления, уже пресытили и утомили его. Блеснувшие на горизонте лучезарные точки ослепили; шорох, произведенный зачатками движения, оглушил. Простые просеки оно приняло за окончательную цель задачи своего существования и, прорубив их, успокоилось. Признаки этого успокоения или, лучше сказать, утомления мы увидим везде, если будем смотреть непредубежденными глазами. Да это и

не удивительно, потому что приступ к делу никогда не может быть равносителен его разрешению, а деятельность, врашающаяся исключительно около этого приступа и не идущая далее, никогда не удовлетворит настоятельной и законнейшей потребности человека: потребности развития. Следовательно, прежде всего необходимо, чтобы общество наше, несмотря на сделанные уже им попытки в смысле обновления, все-таки серьезно спросило себя: чего оно хочет, чему симпатизирует и к чему стремится...

И вот, когда оно предложит себе этот вопрос не для шуток, когда оно серьезно сочтет себя обязанным ответить на него, тогда можно будет оценить, каков будет этот ответ и есть ли возможность видеть в нем признак действительного обновления...

Об угрозе «анархии» (из сборника статей «Итоги»)

К числу непомнящих родства слов, которыми так богат наш уличный жаргон и которыми большинство всего охотнее злоупотребляет, бесспорно принадлежит слово «анархия».

Употребление этого выражения допускается у нас в самых широких размерах. Стоит только прикоснуться к вопросам, имеющим общественный характер, как уже со всех сторон поднимается крик: что вы делаете? разве не видите, что там, на дне, таится анархия? Стоит предъявить самые скромные требования к жизни, как отовсюду посыплются предостережения: берегитесь! скромное требование приведет за собой иные, менее скромные требования, а затем и анархию! Мало того: попробуйте вовсе устраниться от всяких непосредственных требований и вопросов, — и вы наверное услышите: это он неспроста помалчивает! это он замышляет анархию! Занятие науками считается анархией, занятие науками естественными — анархией сугубою. Словом сказать, везде, где видится попытка к уяснению, исследованию, сознательности — везде вместе с тем видится и признак анархии. Таков приговор уличного ареопага, и, к сожалению, приговор безапелляционный. В бесконечно растяжимых его тенетах запутывается все, что мыслит, что стремится вперед, что ищет устройства более правильных и упрощенных жизнен-

ных форм и отношений.

Это история очень древняя и периодически повторяющаяся, но нам незачем ходить далеко, ибо уже на наших глазах был момент очень характеристичный, момент, когда чуть не вся Россия была заподозрена в анархических стремлениях, когда только идиот да заведомый жулик могли считать себя свободными от опасной клички анархиста, поджигателя, революционера, нигилиста и т. п. Это было время очень тяжелое, но что оно было — никто не может возразить против этого. И даже не момент продолжалась эта действительная анархия во имя анархии мнимой, а долго, очень долго, дольше, чем можно вместить (и, однако ж, мы вместили), и характер ее был тем горчее, что еще накануне она сама считала свое дело проигранным. С наступлением благоприятной минуты она очень хорошо смекнула, что ей предстоит не только утвердить торжество своих подлинно анархических принципов, но и навестать все недавние неудачи. И вот началось это страшное сонное видение, которое для многих сделалось не менее страшною действительностью. Свидетели вчерашнего ликования сделались свидетелями сегодняшнего скрежета зубов, и наоборот. Ликование переменило центр и в то же время приняло какой-то особенный, своеобразный характер. Это было ликование с воплями, гиканьем, травлею, со всеми принадлежностями несомненно торжествующей дикости!

Еще накануне патентованные прогрессисты чувствовали

себя неуязвимыми и, указывая на беспредельное пространство, кричали: вперед! И под рукою, и гласно они заявляли о своем сочувствии молодому поколению. Они говорили: какой это бодрый, смелый и дельный народ! Быть может, эти похвалы были не вполне искренни; быть может, в глубине души, прогрессисты надеялись, что горячность, которой они были свидетелями, скоропреходяща, что бодрым, смелым и дельным молодым людям придется-таки вспомнить, что они не больше как кость от костей, как дети того же порядка, который взлелеял на лоне своем и ретроградов, и консерваторов, и прогрессистов. И надежда не обманула их, ибо вспомнить пришлось не далее как назавтра, и так вспомнить, как не приходилось никогда до того времени и как придется вспоминать, быть может, в будущем, когда российская страна почувствует себя достаточно крепкою, чтобы разом покончить со всякими анархиями, гидрами и безднами, и ежели не навсегда, то надолго погрузиться в консервативное оцепенение. Да; это будущее еще предстоит, ибо бюрократия только теперь начинает сознавать саму себя...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.